
GEORGE ORWELL

1984



ДЖОРДЖ ОРУЭЛЛ

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГА НА ЯЗЫКЕ ОРИГИНАЛА С ПЕРЕВОДОМ

АНГЛИЙСКИЙ



РУССКИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

PART I3
I3
II	26
III	38
IV	49
V	63
VI	83
VII	90
VIII105
PART II134
I134
II150
III162
IV175
V189
VI201
VII205
VIII215
IX230
X281
PART III290
I290
II310
III337
IV355
V366
VI372
APPENDIX.	
The Principles of Newspeak	
ПРИЛОЖЕНИЕ. О новоязе386
МАТЕРИАЛЫ ПО ДЕЛУ399

PART I

I

It was a bright cold day in April, and the clocks were striking thirteen. Winston Smith, his chin nuzzled into his breast in an effort to escape the vile wind, slipped quickly through the glass doors of Victory Mansions, though not quickly enough to prevent a swirl of gritty dust from entering along with him.

The hallway smelt of boiled cabbage and old rag mats. At one end of it a coloured poster, too large for indoor display, had been tacked to the wall. It depicted simply an enormous face, more than a metre wide: the face of a man of about forty-five, with a heavy black moustache and ruggedly handsome features. Winston made for the stairs. It was no use trying the lift. Even at the best of times it was seldom working, and at present the electric current was cut off during daylight hours. It was part of the economy drive in preparation for Hate Week. The flat was seven flights up, and Winston, who was thirty-nine and had a varicose ulcer above his right ankle, went slowly, resting several times on the way. On each landing, opposite the lift-shaft, the poster with the enormous face gazed from the wall. It was one of those pictures which are so contrived that the eyes follow you about when you move. **BIG BROTHER IS WATCHING YOU**, the caption beneath it ran.

ПЕРВАЯ

I

Был холодный ясный апрельский день, и часы пробили тринадцать. Уткнув подбородок в грудь, чтобы спастись от злого ветра, Уинстон Смит торопливо шмыгнул за стеклянную дверь жилого дома «Победа», но все-таки впустил за собой вихрь зернистой пыли.

В вестибюле пахло вареной капустой и старыми половиками. Против входа на стене висел цветной плакат, слишком большой для помещения. На плакате было изображено громадное, больше метра в ширину, лицо — лицо человека лет сорока пяти, с густыми черными усами, грубое, но по-мужски привлекательное. Уинстон направился к лестнице. К лифту не стоило и подходить. Он даже в лучшие времена редко работал, а теперь в дневное время электричество вообще отключали. Действовал режим экономии — готовились к Неделе ненависти. Уинстону предстояло одолеть семь маршей; ему шел сороковой год, над щиколоткой у него была варикозная язва; он поднимался медленно и несколько раз останавливался передохнуть. На каждой площадке со стены глядело все то же лицо. Портрет был выполнен так, что, куда бы ты ни встал, глаза тебя не отпускали. **СТАРШИЙ БРАТ СМОТРИТ НА ТЕБЯ** — гласила подпись.

Inside the flat a fruity voice was reading out a list of figures which had something to do with the production of pig-iron. The voice came from an oblong metal plaque like a dulled mirror which formed part of the surface of the right-hand wall. Winston turned a switch and the voice sank somewhat, though the words were still distinguishable. The instrument (the telescreen, it was called) could be dimmed, but there was no way of shutting it off completely. He moved over to the window: a smallish, frail figure, the meagreness of his body merely emphasized by the blue overalls which were the uniform of the Party. His hair was very fair, his face naturally sanguine, his skin roughened by coarse soap and blunt razor blades and the cold of the winter that had just ended.

Outside, even through the shut window-pane, the world looked cold. Down in the street little eddies of wind were whirling dust and torn paper into spirals, and though the sun was shining and the sky a harsh blue, there seemed to be no colour in anything, except the posters that were plastered everywhere. The blackmoustachio'd face gazed down from every commanding corner. There was one on the house-front immediately opposite. **BIG BROTHER IS WATCHING YOU**, the caption said, while the dark eyes looked deep into Winston's own. Down at street level another poster, torn at one corner, flapped fitfully in the wind, alternately covering and uncovering the single word **INGSOC**. In the far distance a helicopter skimmed down between the roofs, hovered for an instant like a bluebottle, and darted away again with a curving flight. It was the

В квартире сочный голос что-то говорил о производстве чугуна, зачитывал цифры. Голос шел из заделанной в правую стену продолговатой металлической пластины, похожей на мутное зеркало. Уинстон повернул ручку, голос ослаб, но речь по-прежнему звучала внятно. Аппарат этот (он назывался телекран) притушить было можно, полностью же выключить — нельзя. Уинстон отошел к окну: невысокий тщедушный человек, он казался еще более щуплым в синем форменном комбинезоне партийца. Волосы у него были совсем светлые, а румяное лицо шелушилось от скверного мыла, тупых лезвий и холода только что кончившейся зимы.

Мир снаружи, за закрытыми окнами, дышал холодом. Ветер закручивал спиралью пыль и обрывки бумаги; и хотя светило солнце, а небо было резко-голубым, все в городе выглядело бесцветным — кроме расклеенных повсюду плакатов. С каждого заметного угла смотрело лицо черноусого. С дома напротив — тоже. **СТАРШИЙ БРАТ СМОТРИТ НА ТЕБЯ** — говорила подпись, и темные глаза глядели в глаза Уинстону. Внизу, над тротуаром, трепался на ветру плакат с оторванным углом, то пряча, то открывая единственное слово: **АНГСОЦ**. Вдалеке между крышами скользнул вертолет, завис на мгновение, как трупная муха, и по кривой унесся прочь. Это полицейский патруль заглядывал людям в окна.

police patrol, snooping into people's windows. The patrols did not matter, however. Only the Thought Police mattered.

Behind Winston's back the voice from the telescreen was still babbling away about pig-iron and the overfulfilment of the Ninth Three-Year Plan. The telescreen received and transmitted simultaneously. Any sound that Winston made, above the level of a very low whisper, would be picked up by it, moreover, so long as he remained within the field of vision which the metal plaque commanded, he could be seen as well as heard. There was of course no way of knowing whether you were being watched at any given moment. How often, or on what system, the Thought Police plugged in on any individual wire was guesswork. It was even conceivable that they watched everybody all the time. But at any rate they could plug in your wire whenever they wanted to. You had to live — did live, from habit that became instinct — in the assumption that every sound you made was overheard, and, except in darkness, every movement scrutinized.

Winston kept his back turned to the telescreen. It was safer, though, as he well knew, even a back can be revealing. A kilometre away the Ministry of Truth, his place of work, towered vast and white above the grimy landscape. This, he thought with a sort of vague distaste — this was London, chief city of Airstrip One, itself the third most populous of the provinces of Oceania. He tried to squeeze out some childhood memory that should tell him whether London had always been quite like this.

Но патрули в счет не шли. В счет шла только полиция мыслей.

За спиной Уинстона голос из телекрана все еще болтал о выплавке чугуна и перевыполнении девятого трехлетнего плана. Телекран работал на прием и на передачу. Он ловил каждое слово, если его произносили не слишком тихим шепотом; мало того, куда Уинстон оставался в поле зрения мутной пластины, он был не только слышен, но и виден. Конечно, никто не знал, наблюдают за ним в данную минуту или нет. Часто ли и по какому расписанию подключается к твоему кабелю полиция мыслей — об этом можно было только гадать. Не исключено, что следили за каждым — и круглые сутки. Во всяком случае, подключиться могли когда угодно. Приходилось жить — и ты жил, по привычке, которая превратилась в инстинкт, — с сознанием того, что каждое твое слово подслушивают и каждое твое движение, пока не погас свет, наблюдают.

Уинстон держался к телекрану спиной. Так безопаснее; хотя — он знал это — спина тоже выдает. В километре от его окна громоздилось над чумазым городом белое здание министерства правды — место его службы. «Вот он, — со смутным отвращением подумал Уинстон, — вот он, Лондон, главный город Взлетной полосы I, третьей по населению провинции государства Океания». Он обратился к детству — попытался вспомнить, всегда ли

Were there always these vistas of rotting nineteenth-century houses, their sides shored up with baulks of timber, their windows patched with cardboard and their roofs with corrugated iron, their crazy garden walls sagging in all directions? And the bombed sites where the plaster dust swirled in the air and the willow-herb straggled over the heaps of rubble; and the places where the bombs had cleared a larger patch and there had sprung up sordid colonies of wooden dwellings like chicken-houses? But it was no use, he could not remember: nothing remained of his childhood except a series of bright-lit tableaux occurring against no background and mostly unintelligible.

The Ministry of Truth — Minitrue, in Newspeak — was startlingly different from any other object in sight. It was an enormous pyramidal structure of glittering white concrete, soaring up, terrace after terrace, 300 metres into the air. From where Winston stood it was just possible to read, picked out on its white face in elegant lettering, the three slogans of the Party:

*WAR IS PEACE
FREEDOM IS SLAVERY
IGNORANCE IS STRENGTH*

The Ministry of Truth contained, it was said, three thousand rooms above ground level, and corresponding ramifications below. Scattered about London there were just three other buildings of similar appearance and size. So completely did they dwarf the surrounding architecture that from the roof of Victory Mansions you could see all four of them simultaneously.

был таким Лондон. Всегда ли тянулись вдаль эти вереницы обветшалых домов XIX века, подпертых бревнами, с залатанными картоном окнами, лоскутными крышами, пьяными стенками палисадников? И эти прогалины от бомбежек, где вилась алебастровая пыль и кипрей карабкался по грудам обломков; и большие пустыри, где бомбы расчистили место для целой грибной семьи убогих дощатых хибарок, похожих на курятники? Но — без толку, вспомнить он не мог; ничего не осталось от детства, кроме отрывочных, ярко освещенных сцен, лишенных фона и чаще всего невразумительных.

Министерство правды — на новоязе миниправ — разительно отличалось от всего, что лежало вокруг. Это исполинское пирамидальное здание, сияющее белым бетоном, вздымалось, уступ за уступом, на трехсотметровую высоту. Из своего окна Уинстон мог прочесть на белом фасаде написанные элегантно шрифтом три партийных лозунга:

*ВОЙНА — ЭТО МИР
СВОБОДА — ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ — СИЛА*

По слухам, министерство правды заключало в себе три тысячи кабинетов над поверхностью земли и соответствующую корневую систему в недрах. В разных концах Лондона стояли лишь три еще здания подобного вида и размеров. Они настолько возвышались над городом, что с крыши жилого дома «Победа»

They were the homes of the four Ministries between which the entire apparatus of government was divided. The Ministry of Truth, which concerned itself with news, entertainment, education, and the fine arts. The Ministry of Peace, which concerned itself with war. The Ministry of Love, which maintained law and order. And the Ministry of Plenty, which was responsible for economic affairs. Their names, in Newspeak: Minitrue, Minipax, Miniluv, and Miniplenty.

The Ministry of Love was the really frightening one. There were no windows in it at all. Winston had never been inside the Ministry of Love, nor within half a kilometre of it. It was a place impossible to enter except on official business, and then only by penetrating through a maze of barbed-wire entanglements, steel doors, and hidden machine-gun nests. Even the streets leading up to its outer barriers were roamed by gorilla-faced guards in black uniforms, armed with jointed truncheons.

Winston turned round abruptly. He had set his features into the expression of quiet optimism which it was advisable to wear when facing the telescreen. He crossed the room into the tiny kitchen. By leaving the Ministry at this time of day he had sacrificed his lunch in the canteen, and he was aware that there was no food in the kitchen except a hunk of dark-coloured bread which had got to be saved for tomorrow's breakfast. He took down from the shelf a bottle of colourless liquid with a plain white label marked VICTORY GIN. It gave off a sickly, oily smell, as of Chinese rice-spirit. Winston poured

можно было видеть все четыре разом. В них помещались четыре министерства, весь государственный аппарат: министерство правды, ведавшее информацией, образованием, досугом и искусствами; министерство мира, ведавшее войной; министерство любви, ведавшее охраной порядка, и министерство изобилия, отвечавшее за экономику. На новоязе: миниправ, минимир, минилюб и минизо.

Министерство любви внушало страх. В здании отсутствовали окна. Уинстон ни разу не переступал его порога, ни разу не подходил к нему ближе чем на полкилометра. Попасть туда можно было только по официальному делу, да и то преодолев целый лабиринт колючей проволоки, стальных дверей и замаскированных пулеметных гнезд. Даже на улицах, ведущих к внешнему кольцу ограждений, патрулировали охранники в черной форме, похожие на горилл и вооруженные суставчатыми дубинками.

Уинстон резко повернулся. Он придал лицу выражение спокойного оптимизма, наиболее уместное перед телекраном, и прошел в другой конец комнаты, к крохотной кухоньке. Покинув в этот час министерство, он пожертвовал обедом в столовой, а дома никакой еды не было — кроме ломтя черного хлеба, который надо было побережь до завтрашнего утра. Он взял с полки бутылку бесцветной жидкости с простой белой этикеткой: «Джин Победа». Запах у джина был противный, маслянистый, как у китайской рисовой водки. Уинстон налил

out nearly a teacupful, nerved himself for a shock, and gulped it down like a dose of medicine.

Instantly his face turned scarlet and the water ran out of his eyes. The stuff was like nitric acid, and moreover, in swallowing it one had the sensation of being hit on the back of the head with a rubber club. The next moment, however, the burning in his belly died down and the world began to look more cheerful. He took a cigarette from a crumpled packet marked VICTORY CIGARETTES and incautiously held it upright, whereupon the tobacco fell out on to the floor. With the next he was more successful. He went back to the living-room and sat down at a small table that stood to the left of the telescreen. From the table drawer he took out a penholder, a bottle of ink, and a thick, quarto-sized blank book with a red back and a marbled cover.

For some reason the telescreen in the living-room was in an unusual position. Instead of being placed, as was normal, in the end wall, where it could command the whole room, it was in the longer wall, opposite the window. To one side of it there was a shallow alcove in which Winston was now sitting, and which, when the flats were built, had probably been intended to hold bookshelves. By sitting in the alcove, and keeping well back, Winston was able to remain outside the range of the telescreen, so far as sight went. He could be heard, of course, but so long as he stayed in his present position he could not be seen. It was partly the unusual geography of the room that had suggested to him the thing that he was now about to do.

почти полную чашку, собрался с духом и проглотил, точно лекарство.

Лицо у него сразу покраснело, а из глаз потекли слезы. Напиток был похож на азотную кислоту; мало того: после глотка ощущение было такое, будто тебя огрели по спине резиновой дубинкой. Но вскоре жжение в желудке утихло, а мир стал выглядеть веселее. Он вытянул сигарету из мятой пачки с надписью «Сигареты Победа», по рассеянности держа ее вертикально, в результате весь табак из сигареты высыпался на пол. Со следующей Уинстон обошелся аккуратнее. Он вернулся в комнату и сел за столик слева от телекрана. Из ящика стола он вынул ручку, пузырек с чернилами и толстую книгу для записей с красным корешком и переплетом под мрамор.

По неизвестной причине телекран в комнате был установлен не так, как принято. Он помещался не в торцевой стене, откуда мог бы обозревать всю комнату, а в длинной, напротив окна. Сбоку от него была неглубокая ниша, предназначенная, вероятно, для книжных полок, — там и сидел сейчас Уинстон. Сев в ней поглубже, он оказывался недосягаемым для телекрана, вернее, невидимым. Подслушивать его, конечно, могли, но наблюдать, пока он сидел там, — нет. Эта несколько необычная планировка комнаты, возможно, и натолкнула его на мысль заняться тем, чем он намерен был сейчас заняться.

But it had also been suggested by the book that he had just taken out of the drawer. It was a peculiarly beautiful book. Its smooth creamy paper, a little yellowed by age, was of a kind that had not been manufactured for at least forty years past. He could guess, however, that the book was much older than that. He had seen it lying in the window of a frowsy little junk-shop in a slummy quarter of the town (just what quarter he did not now remember) and had been stricken immediately by an overwhelming desire to possess it. Party members were supposed not to go into ordinary shops ('dealing on the free market', it was called), but the rule was not strictly kept, because there were various things, such as shoelaces and razor blades, which it was impossible to get hold of in any other way. He had given a quick glance up and down the street and then had slipped inside and bought the book for two dollars fifty. At the time he was not conscious of wanting it for any particular purpose. He had carried it guiltily home in his briefcase. Even with nothing written in it, it was a compromising possession.

The thing that he was about to do was to open a diary. This was not illegal (nothing was illegal, since there were no longer any laws), but if detected it was reasonably certain that it would be punished by death, or at least by twenty-five years in a forced-labour camp. Winston fitted a nib into the penholder and sucked it to get the grease off. The pen was an archaic instrument, seldom used even for signatures, and he had procured one, furtively and with some difficulty, simply because of a feeling that the beautiful creamy paper deserved to be written on with a real

Но кроме того, натолкнула книга в мраморном переплете. Книга была удивительно красива. Гладкая кремовая бумага чуть пожелтела от старости — такой бумаги не выпускали уже лет сорок, а то и больше. Уинстон подозревал, что книга еще древнее. Он заметил ее в витрине старьевщика в трущобном районе (где именно, он уже забыл) и загорелся желанием купить. Членам партии не полагалось ходить в обыкновенные магазины (это называлось «приобретать товары на свободном рынке»), но запретом часто пренебрегали: множество вещей, таких как шнурки и бритвенные лезвия, раздобыть иным способом было невозможно. Уинстон быстро оглянулся по сторонам, нырнул в лавку и купил книгу за два доллара пятьдесят. Зачем — он сам еще не знал. Он воровато принес ее домой в портфеле. Даже пустая, она компрометировала владельца.

Намеревался же он теперь — начать дневник. Это не было противозаконным поступком (противозаконного вообще ничего не существовало, поскольку не существовало больше самих законов), но, если дневник обнаружат, Уинстона ожидает смерть или в лучшем случае двадцать пять лет каторжного лагеря. Уинстон вставил в ручку перо и облизнул, чтобы снять смазку. Ручка была архаическим инструментом, ими даже расписывались редко, и Уинстон раздобыл свою тайком и не без труда: эта красивая кремовая бумага,

nib instead of being scratched with an ink-pencil. Actually he was not used to writing by hand. Apart from very short notes, it was usual to dictate everything into the speak-write which was of course impossible for his present purpose. He dipped the pen into the ink and then faltered for just a second. A tremor had gone through his bowels. To mark the paper was the decisive act. In small clumsy letters he wrote:

April 4th, 1984.

He sat back. A sense of complete helplessness had descended upon him. To begin with, he did not know with any certainty that this was 1984. It must be round about that date, since he was fairly sure that his age was thirty-nine, and he believed that he had been born in 1944 or 1945; but it was never possible nowadays to pin down any date within a year or two.

For whom, it suddenly occurred to him to wonder, was he writing this diary? For the future, for the unborn. His mind hovered for a moment round the doubtful date on the page, and then fetched up with a bump against the Newspeak word *doublethink*. For the first time the magnitude of what he had undertaken came home to him. How could you communicate with the future? It was of its nature impossible. Either the future would resemble the present, in which case it would not listen to him: or it would be different from it, and his predicament would be meaningless.

For some time he sat gazing stupidly at the paper. The telescreen had changed over to strident military music. It was curious that he seemed not merely to have lost the power of expressing himself, but even to have forgotten what

казалось ему, заслуживает того, чтобы по ней писали настоящими чернилами, а не карябали чернильным карандашом. Вообще-то он не привык писать рукой. Кроме самых коротких заметок, он все диктовал в речепис, но тут диктовка, понятно, не годилась. Он обмакнул перо и замешкался. У него схватило живот. Коснуться пером бумаги — бесповоротный шаг. Мелкими корявыми буквами он вывел:

4 апреля 1984 года

И откинулся. Им овладело чувство полной беспомощности. Прежде всего он не знал, правда ли, что год — 1984-й. Около этого — несомненно: он был почти уверен, что ему 39 лет, а родился он в 1944-м или 45-м; но теперь невозможно установить никакую дату точнее, чем с ошибкой в год или два.

А для кого, вдруг озадачился он, пишется этот дневник? Для будущего, для тех, кто еще не родился. Мысль его покружила над сомнительной датой, записанной на листе, и вдруг наткнулась на новоязовское слово «двоемыслие». И впервые ему стал виден весь масштаб его затеи. С будущим как общаться? Это по самой сути невозможно. Либо завтра будет похоже на сегодня и тогда не станет его слушать, либо оно будет другим, и невзгоды Уинстона ничего ему не скажут.

Уинстон сидел, бессмысленно уставясь на бумагу. Из телекрана ударила резкая военная музыка. Любопытно: он не только потерял способность выражать свои мысли, но даже

it was that he had originally intended to say. For weeks past he had been making ready for this moment, and it had never crossed his mind that anything would be needed except courage. The actual writing would be easy. All he had to do was to transfer to paper the interminable restless monologue that had been running inside his head, literally for years. At this moment, however, even the monologue had dried up. Moreover his varicose ulcer had begun itching unbearably. He dared not scratch it, because if he did so it always became inflamed. The seconds were ticking by. He was conscious of nothing except the blankness of the page in front of him, the itching of the skin above his ankle, the blaring of the music, and a slight booziness caused by the gin.

Suddenly he began writing in sheer panic, only imperfectly aware of what he was setting down. His small but childish handwriting straggled up and down the page, shedding first its capital letters and finally even its full stops:

April 4th, 1984. Last night to the flicks. All war films. One very good one of a ship full of refugees being bombed somewhere in the Mediterranean. Audience much amused by shots of a great huge fat man trying to swim away with a helicopter after him, first you saw him wallowing along in the water like a porpoise, then you saw him through the helicopters gun-sights, then he was full of holes and the sea round him turned pink and he sank as suddenly as though the holes had let in the water, audience shouting with laughter when he sank. then you saw a lifeboat full of children with a helicopter hovering over it. there was a middle-aged woman might

забыл, что ему хотелось сказать. Сколько недель готовился он к этой минуте, и ему даже в голову не пришло, что потребуется тут не одна храбрость. Только записать — чего проще? Перенести на бумагу нескончаемый тревожный монолог, который звучит у него в голове годы, годы. И вот даже этот монолог иссяк. А язва над щиколоткой зудела невыносимо. Он боялся почесать ногу — от этого всегда начиналось воспаление. Секунды капали. Только белизна бумаги, да зуд над щиколоткой, да гремучая музыка, да легкий хмель в голове — вот и все, что воспринимали сейчас его чувства.

И вдруг он начал писать — просто от паники, очень смутно сознавая, что идет из-под пера. Бисерные, но по-детски корявые строки ползли то вверх, то вниз по листу, теряя сперва заглавные буквы, а потом и точки.

4 апреля 1984 года. Вчера в кино. Сплошь военные фильмы. Один очень хороший где-то в Средиземном море бомбят судно с беженцами. Публику забавляют кадры где пробует уплыть громадный толстенный мужчина а его преследует вертолет. Сперва мы видим как он по-дельфиньи бултыхается в воде потом видим его с вертолета через прицел потом он весь продырявлен и море вокруг него розовое и сразу тонет словно через дыры набрал воды, когда он пошел на дно зрители загоготали. Потом шлюпка полная детей и над ней вьется вертолет. там на носу

have been a jewess sitting up in the bow with a little boy about three years old in her arms. little boy screaming with fright and hiding his head between her breasts as if he was trying to burrow right into her and the woman putting her arms round him and comforting him although she was blue with fright herself, all the time covering him up as much as possible as if she thought her arms could keep the bullets off him. then the helicopter planted a 20 kilo bomb in among them terrific flash and the boat went all to matchwood. then there was a wonderful shot of a child's arm going up up up right up into the air a helicopter with a camera in its nose must have followed it up and there was a lot of applause from the Party seats but a woman down in the prole part of the house suddenly started kicking up a fuss and shouting they didnt oughter of showed it not in front of kids they didnt it aint right not in front of kids it aint until the police turned her turned her out i dont suppose anything happened to her nobody cares what the proles say typical prole reaction they never —

Winston stopped writing, partly because he was suffering from cramp. He did not know what had made him pour out this stream of rubbish. But the curious thing was that while he was doing so a totally different memory had clarified itself in his mind, to the point where he almost felt equal to writing it down. It was, he now realized, because of this other incident that he had suddenly decided to come home and begin the diary today.

It had happened that morning at the Ministry, if anything so nebulous could be said to happen.

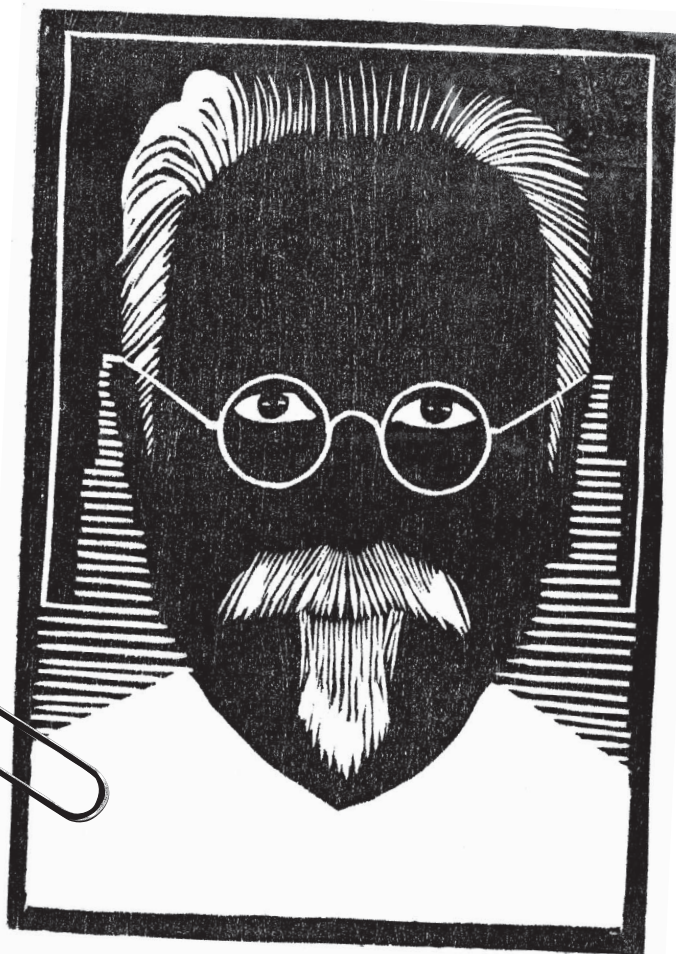
сидела женщина средних лет похоя на еврейку а на руках у нее мальчик лет трех. Мальчик кричит от страха и прячет голову у нее на груди как будто хочет в нее ввинтиться а она его успокаивает и прикрывает руками хотя сама посинела от страха, все время старается закрыть его руками получше, как будто может заслонить от пуль, потом вертолет сбросил на них 20-килограммовую бомбу ужасный взрыв и лодка разлетелась в щепки, потом замечательный кадр детская рука летит вверх, вверх прямо в небо наверно ее снимали из стеклянного носа вертолета и в партийных рядах громко аплодировали но там где сидели пролы какая-то женщина подняла скандал и крик, что этого нельзя показывать при детях куда это годится куда это годится при детях и скандалила пока полицейские не вывели не вывели ее вряд ли ей что-нибудь сгеляют мало ли что говорят пролы типичная проловская реакция на это никто не обращает...

Уинстон перестал писать, отчасти из-за того, что у него свело руку. Он сам не понимал, почему выплеснул на бумагу этот вздор. Но любопытно, что, пока он водил пером, в памяти у него отстоялось совсем другое происшествие, да так, что хоть сейчас записывай. Ему стало понятно, что из-за этого происшествия он и решил вдруг пойти домой и начать дневник сегодня.

Случилось оно утром в министерстве — если о такой туманности можно сказать «случилась».

It was nearly eleven hundred, and in the Records Department, where Winston worked, they were dragging the chairs out of the cubicles and grouping them in the centre of the hall opposite the big telescreen, in preparation for the Two Minutes Hate. Winston was just taking his place in one of the middle rows when two people whom he knew by sight, but had never spoken to, came unexpectedly into the room. One of them was a girl whom he often passed in the corridors. He did not know her name, but he knew that she worked in the Fiction Department. Presumably — since he had sometimes seen her with oily hands and carrying a spanner — she had some mechanical job on one of the novel-writing machines. She was a bold-looking girl, of about twenty-seven, with thick hair, a freckled face, and swift, athletic movements. A narrow scarlet sash, emblem of the Junior Anti-Sex League, was wound several times round the waist of her overalls, just tightly enough to bring out the shapeliness of her hips. Winston had disliked her from the very first moment of seeing her. He knew the reason. It was because of the atmosphere of hockey-fields and cold baths and community hikes and general clean-mindedness which she managed to carry about with her. He disliked nearly all women, and especially the young and pretty ones. It was always the women, and above all the young ones, who were the most bigoted adherents of the Party, the swallowers of slogans, the amateur spies and nosers-out of unorthodoxy. But this particular girl gave him the impression of being more dangerous than most. Once when they passed in

Время приближалось к одиннадцати ноль-ноль, и в отделе документации, где работал Уинстон, сотрудники выносили стулья из кабин и расставляли в середине холла перед большим телеэкраном — собирались на двухминутку ненависти. Уинстон приготовился занять свое место в средних рядах, и тут неожиданно появились еще двое: лица знакомые, но разговаривать с ними ему не приходилось. Девицу он часто встречал в коридорах. Как ее зовут, он не знал, знал только, что она работает в отделе литературы. Судя по тому, что иногда он видел ее с гаечным ключом и масляными руками, она обслуживала одну из машин для сочинения романов. Она была веснушчатая, с густыми темными волосами, лет двадцати семи; держалась самоуверенно, двигалась по-спортивному стремительно. Алый кушак — эмблема Молодежного антиполового союза, — туго обернутый несколько раз вокруг талии комбинезона, подчеркивал крутые бедра. Уинстон с первого взгляда невлюбил ее. И знал за что. От нее веяло духом хоккейных полей, холодных купаний, туристских вылазок и вообще правдивости. Он не любил почти всех женщин, в особенности молодых и хорошеньких. Именно женщины, и молодые в первую очередь, были самыми фанатичными приверженцами партии, глотателями лозунгов, добровольными шпионами и вынюхивателями ереси. А эта казалась ему даже опаснее других. Однажды она повстречалась ему в коридоре,



the corridor she gave him a quick side-long glance which seemed to pierce right into him and for a moment had filled him with black terror. The idea had even crossed his mind that she might be an agent of the Thought Police. That, it was true, was very unlikely. Still, he continued to feel a peculiar uneasiness, which had fear mixed up in it as well as hostility, whenever she was anywhere near him.

The other person was a man named O'Brien, a member of the Inner Party and holder of some post so important and remote that Winston had only a dim idea of its nature. A momentary hush passed over the

взглянула искоса — будто пронзила взглядом, — и в душу ему вполз черный страх. У него даже мелькнуло подозрение, что она служит в полиции мыслей. Впрочем, это было маловероятно. Тем не менее всякий раз, когда она оказывалась рядом, Уинстон испытывал неловкое чувство, к которому примешивались и враждебность, и страх.

Одновременно с женщиной вошел О'Брайен, член внутренней партии, занимавший настолько высокий и удаленный пост, что Уинстон имел о нем лишь самое смутное представление. Увидев

group of people round the chairs as they saw the black overalls of an Inner Party member approaching. O'Brien was a large, burly man with a thick neck and a coarse, humorous, brutal face. In spite of his formidable appearance he had a certain charm of manner. He had a trick of resetting his spectacles on his nose which was curiously disarming — in some indefinable way, curiously civilized. It was a gesture which, if anyone had still thought in such terms, might have recalled an eighteenth-century nobleman offering his snuffbox. Winston had seen O'Brien perhaps a dozen times in almost as many years. He felt deeply drawn to him, and not solely because he was intrigued by the contrast between O'Brien's urbane manner and his prize-fighter's physique. Much more it was because of a secretly held belief — or perhaps not even a belief, merely a hope — that O'Brien's political orthodoxy was not perfect. Something in his face suggested it irresistibly. And again, perhaps it was not even unorthodoxy that was written in his face, but simply intelligence. But at any rate he had the appearance of being a person that you could talk to if somehow you could cheat the telescreen and get him alone. Winston had never made the smallest effort to verify this guess: indeed, there was no way of doing so. At this moment O'Brien glanced at his wrist-watch, saw that it was nearly eleven hundred, and evidently decided to stay in the Records Department until the Two Minutes Hate was over. He took a chair in the same row as Winston, a couple of places away. A small, sandy-haired woman who worked in

черный комбинезон члена внутренней партии, люди, сидевшие перед телекраном, на миг затихли. О'Брайен был рослый плотный мужчина с толстой шеей и грубым насмешливым лицом. Несмотря на грозную внешность, он был не лишен обаяния. Он имел привычку поправлять очки на носу, и в этом характерном жесте было что-то до странности обезоруживающее, что-то неуловимо интеллигентное. Дворянин восемнадцатого века, предлагающий свою табакерку, — вот что пришло бы на ум тому, кто еще способен был мыслить такими сравнениями. Лет за десять Уинстон видел О'Брайена, наверное, с десятков раз. Его тянуло к О'Брайену, но не только потому, что озадачивал этот контраст между воспитанностью и телосложением боксера-тяжеловеса. В глубине души Уинстон подозревал — а может быть, не подозревал, а лишь надеялся, — что О'Брайен политически не вполне правоверен. Его лицо наводило на такие мысли. Но опять-таки возможно, что на лице было написано не сомнение в догмах, а просто ум. Так или иначе, он производил впечатление человека, с которым можно поговорить — если остаться с ним наедине и укрыться от телекрана. Уинстон ни разу не попытался проверить эту догадку; да и не в его это было силах. О'Брайен взглянул на свои часы, увидел, что время — почти 11.00, и решил остаться на двухминутку ненависти в отделе документации. Он сел в одном ряду с Уинстоном, за два места от него. Между ними располагалась маленькая рыжеватая

the next cubicle to Winston was between them. The girl with dark hair was sitting immediately behind.

The next moment a hideous, grinding speech, as of some monstrous machine running without oil, burst from the big telescreen at the end of the room. It was a noise that set one's teeth on edge and bristled the hair at the back of one's neck. The Hate had started.

As usual, the face of Emmanuel Goldstein, the Enemy of the People, had flashed on to the screen. There were hisses here and there among the audience. The little sandy-haired woman gave a squeak of mingled fear and disgust. Goldstein was the renegade and backslider who once, long ago (how long ago, nobody quite remembered), had been one of the leading figures of the Party, almost on a level with Big Brother himself, and then had engaged in counter-revolutionary activities, had been condemned to death, and had mysteriously escaped and disappeared. The programmes of the Two Minutes Hate varied from day to day, but there was none in which Goldstein was not the principal figure. He was the primal traitor, the earliest defiler of the Party's purity. All subsequent crimes against the Party, all treacheries, acts of sabotage, heresies, deviations, sprang directly out of his teaching. Somewhere or other he was still alive and hatching his conspiracies: perhaps somewhere beyond the sea, under the protection of his foreign paymasters, perhaps even — so it was occasionally rumoured — in some hiding-place in Oceania itself.

Winston's diaphragm was constricted. He could never see the face of Goldstein without a painful mixture

женщина, работавшая по соседству с Уинстоном. Темноволосая села прямо за ним.

И вот из большого телекрана в стене вырвался отвратительный вой и скрежет — словно запустили какую-то чудовищную несмазанную машину. От этого звука вставали дыбом волосы и ломало зубы. Ненависть началась.

Как всегда, на экране появился враг народа Эммануэль Голдстейн. Зрители зашикали. Маленькая женщина с рыжеватыми волосами взвизгнула от страха и омерзения. Голдстейн, отступник и ренегат, когда-то, давным-давно (так давно, что никто уже и не помнил когда), был одним из руководителей партии, почти равным самому Старшему Брату, а потом встал на путь контрреволюции, был приговорен к смертной казни и таинственным образом сбежал, исчез. Программа двухминутки каждый день менялась, но главным действующим лицом в ней всегда был Голдстейн. Первый изменник, главный осквернитель партийной чистоты. Из его теорий произрастали все дальнейшие преступления против партии, все вредительства, предательства, ереси, уклонь. Неведомо где он все еще жил и ковал крамолу: возможно, за морем, под защитой своих иностранных хозяев, а возможно — ходили и такие слухи, — здесь, в Океании, в подполье.

Уинстону стало трудно дышать. Лицо Голдстейна всегда вызывало у него сложное

of emotions. It was a lean Jewish face, with a great fuzzy aureole of white hair and a small goatee beard — a clever face, and yet somehow inherently despicable, with a kind of senile silliness in the long thin nose, near the end of which a pair of spectacles was perched. It resembled the face of a sheep, and the voice, too, had a sheep-like quality. Goldstein was delivering his usual venomous attack upon the doctrines of the Party — an attack so exaggerated and perverse that a child should have been able to see through it, and yet just plausible enough to fill one with an alarmed feeling that other people, less level-headed than oneself, might be taken in by it. He was abusing Big Brother, he was denouncing the dictatorship of the Party, he was demanding the immediate conclusion of peace with Eurasia, he was advocating freedom of speech, freedom of the Press, freedom of assembly, freedom of thought, he was crying hysterically that the revolution had been betrayed — and all this in rapid polysyllabic speech which was a sort of parody of the habitual style of the orators of the Party, and even contained Newspeak words: more Newspeak words, indeed, than any Party member would normally use in real life. And all the while, lest one should be in any doubt as to the reality which Goldstein's specious claptrap covered, behind his head on the telescreen there marched the endless columns of the Eurasian army — row after row of solid-looking men with expressionless Asiatic faces, who swam up to the surface of the screen and vanished, to be replaced by others exactly similar. The dull rhythmic tramp of the soldiers' boots formed

и мучительное чувство. Сухое еврейское лицо в ореоле легких седых волос, козлиная бородка — умное лицо и вместе с тем необъяснимо отталкивающее; и было что-то сенильное в этом длинном хрящеватом носе с очками, съехавшими почти на самый кончик. Он напоминал овцу, и в голосе его слышалось бляение. Как всегда, Голдстейн злобно обрушился на партийные доктрины; нападки были настолько вздорными и несуразными, что не обманули бы и ребенка, но при этом не лишены убедительности, и слушатель невольно опасался, что другие люди, менее трезвые, чем он, могут Голдстейну поверить. Он поносил Старшего Брата, он обличал диктатуру партии. Требовал немедленного мира с Евразией, призывал к свободе слова, свободе печати, свободе собраний, свободе мысли; он истерически кричал, что революцию предали, — и все скороговоркой, с составными словами, будто пародируя стиль партийных ораторов, даже с новозовскими словами, причем у него они встречались чаще, чем в речи любого партийца. И все время, дабы не было сомнений в том, что стоит за лицемерными разглагольствованиями Голдстейна, позади его лица на экране маршировали бесконечные евразийские колонны: шеренга за шеренгой кряжистые солдаты с невозмутимыми азиатскими физиономиями выплывали из глубины на поверхность и растворялись, уступая место точно таким же. Глухой мерный топот

the background to Goldstein's bleating voice.

Before the Hate had proceeded for thirty seconds, uncontrollable exclamations of rage were breaking out from half the people in the room. The self-satisfied sheep-like face on the screen, and the terrifying power of the Eurasian army behind it, were too much to be borne: besides, the sight or even the thought of Goldstein produced fear and anger automatically. He was an object of hatred more constant than either Eurasia or Eastasia, since when Oceania was at war with one of these Powers it was generally at peace with the other. But what was strange was that although Goldstein was hated and despised by everybody, although every day and a thousand times a day, on platforms, on the television, in newspapers, in books, his theories were refuted, smashed, ridiculed, held up to the general gaze for the pitiful rubbish that they were — in spite of all this, his influence never seemed to grow less. Always there were fresh dupes waiting to be seduced by him. A day never passed when spies and saboteurs acting under his directions were not unmasked by the Thought Police. He was the commander of a vast shadowy army, an underground network of conspirators dedicated to the overthrow of the State. The Brotherhood, its name was supposed to be. There were also whispered stories of a terrible book, a compendium of all the heresies, of which Goldstein was the author and which circulated clandestinely here and there. It was a book without a title. People referred to it, if at all, simply as *the book*. But one knew of such things only through vague rumours.

солдатских сапог сопровождал бляению Голдстейна.

Ненависть началась каких-нибудь тридцать секунд назад, а половина зрителей уже не могла сдержать яростных восклицаний. Невыносимо было видеть это самодовольное овечьё лицо и за ним — устрашающую мощь евразийских войск; кроме того, при виде Голдстейна и даже при мысли о нем страх и гнев возникали рефлекторно. Ненависть к нему была постояннее, чем к Евразии и Остазии, ибо когда Океания воевала с одной из них, с другой она обыкновенно заключала мир. Но вот что удивительно: хотя Голдстейна ненавидели и презирали все, хотя каждый день, по тысяче раз на дню, его учение опровергали, громили, уничтожали, высмеивали как жалкий вздор, влияние его нисколько не убывало. Все время находились новые простофили, только и дожидавшиеся, чтобы он их совратил. Не проходило и дня без того, чтобы полиция мыслей не разоблачала шпионов и вредителей, действовавших по его указке. Он командовал огромной подпольной армией, сетью заговорщиков, стремящихся к свержению строя. Предполагалось, что она называется Братство. Поговаривали шепотом и об ужасной книге, своде всех ересей, — автором ее был Голдстейн, и распространялась она нелегально. Заглавия у книги не было. В разговорах о ней упоминали — если упоминали вообще — просто как о книге. Но о таких вещах было известно

Neither the Brotherhood nor *the book* was a subject that any ordinary Party member would mention if there was a way of avoiding it.

In its second minute the Hate rose to a frenzy. People were leaping up and down in their places and shouting at the tops of their voices in an effort to drown the maddening bleating voice that came from the screen. The little sandy-haired woman had turned bright pink, and her mouth was opening and shutting like that of a landed fish. Even O'Brien's heavy face was flushed. He was sitting very straight in his chair, his powerful chest swelling and quivering as though he were standing up to the assault of a wave. The dark-haired girl behind Winston had begun crying out 'Swine! Swine! Swine!' and suddenly she picked up a heavy Newspeak dictionary and flung it at the screen. It struck Goldstein's nose and bounced off; the voice continued inexorably. In a lucid moment Winston found that he was shouting with the others and kicking his heel violently against the rung of his chair. The horrible thing about the Two Minutes Hate was not that one was obliged to act a part, but, on the contrary, that it was impossible to avoid joining in. Within thirty seconds any pretence was always unnecessary. A hideous ecstasy of fear and vindictiveness, a desire to kill, to torture, to smash faces in with a sledge-hammer, seemed to flow through the whole group of people like an electric current, turning one even against one's will into a grimacing, screaming lunatic. And yet the rage that one felt was an abstract, undirected emotion which could be switched from one object to

только по неясным слухам. Член партии по возможности старался не говорить ни о Братстве, ни о книге.

Ко второй минуте ненависть перешла в исступление. Люди вскакивали с мест и кричали во все горло, чтобы заглушить непереносимый блеющий голос Голдстейна. Маленькая женщина с рыжеватыми волосами стала пунцовой и разевала рот, как рыба на суше. Тяжелое лицо О'Брайена тоже побагровело. Он сидел выпрямившись, и его мощная грудь вздымалась и содрогалась, словно в нее бил прибой. Темноволосая девица позади Уинстона закричала: «Подлец! Подлец! Подлец!» — а потом схватила тяжелый словарь новояза и запустила им в телекран. Словарь угодил Голдстейну в нос и отлетел. Но голос был неистребим. В какой-то миг просветления Уинстон осознал, что сам кричит вместе с остальными и яростно лягает перекладину стула. Ужасным в двухминутке ненависти было не то, что ты должен разыгрывать роль, а то, что ты просто не мог остаться в стороне. Какие-нибудь тридцать секунд — и притворяться тебе уже не надо. Словно от электрического разряда, напали на все собрание гнусные корчи страха и мстительности, исступленное желание убивать, терзать, крушить лица молотом: люди гримасничали и вопили, превращались в сумасшедших. При этом ярость была абстрактной и ненацеленной, ее можно было повернуть в любую сторону, как пламя паяльной

УДК 821.111
ББК 84(0)6
О-70

Перевод с английского В. Гольшева

Оруэлл, Джордж.

О-70 1984. Тысяча девятьсот восемьдесят четвертый = Nineteen Eighty-Four / Джордж Оруэлл ; [перевод с английского В. П. Гольшева]. — Москва : Издательство АСТ, 2023. — 400 с. : ил. — (Bilingua подарочная: иллюстрированная книга на языке оригинала с переводом).

ISBN 978-5-17-155745-4

Партия всегда говорит правду. Невозможно видеть действительность иначе, как глядя на нее глазами партии. Сомнение в непогрешимости партии — преступление, безумие, болезнь. Уинстон Смит не просто сомневается. Уинстон Смит знает, что партия врет.

«Тысяча девятьсот восемьдесят четвертый» — культовая антиутопия английского писателя Джорджа Оруэлла, его последний законченный роман, который и по сей день волнует умы читателей по всему миру. В настоящем издании оригинальный текст романа приводится с параллельным переводом В. П. Гольшева и иллюстрирован произведениями художников-экспрессионистов первой половины двадцатого века.

Лента ляссе, удобный формат и красивая обложка добавляют книге изысканность и привлекательность. Ее можно приобрести не только для своей коллекции, но и в качестве подарка дорогим и близким людям.

УДК 821.111
ББК 84(0)6

*Литературно-художественное издание
Для широкого круга читателей*

Bilingua подарочная: иллюстрированная книга на языке оригинала с переводом



George Orwell
NINETEEN EIGHTY-FOUR

Джордж Оруэлл
ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТЫЙ

Заведующий редакцией *К. Игнатъев*
Ответственный редактор *М. Сизова*
Технический редактор *Н. Чернышева*
Художественный редактор *Е. Лазарева*
Компьютерная вёрстка *Л. Ковальчук*

Подписано в печать 31.03.2023. Формат 70 × 100/16.
Усл. печ. л. 32,5. Печать офсетная. Гарнитура Baltica.
Бумага офсетная. Тираж экз. Заказ № .

Произведено в Российской Федерации
Изготовлено в 2023 г.
Изготовитель: ООО «Издательство АСТ»
129085, Российская Федерация, г. Москва, Звездный
бульвар, д. 21, стр. 1, комн. 705, пом. 1, этаж 7
Наш сайт: www.ast.ru, e-mail: ask@ast.ru

Общероссийский классификатор продукции
ОК-034-2014 (КПЕС 2008); 58.11.1 — книги, брошюры
печатные

Ищите новинки редакции *Lingua* здесь:
<https://ast.ru/redactions/lingua/>

«Баспа Аст» ЖШҚ
129085, Мәскеу қ., Звездный гүлзар, 21-үй, 1-құрылыс,
705-бөлме, 1 жай, 7-қабат.
Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru.
Интернет-дүкен: www.book24.kz
Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».
Қазақстан Республикасындағы импорттаушы
«РДЦ-Алматы» ЖШС.
Дистрибьютор и представитель по приему претензий
на продукцию в республике Казахстан: ТОО «РДЦ-
Алматы» Қазақстан Республикасында дистрибьютор
және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының
өкілі — «РДЦ-Алматы» ЖШС Алматы қ., Домбровский
көш., 3«а» үй, Б литері, 1 кеңсе.
Тел.: 8 (727) 251 59 90, 91, факс: 8 (727) 251 59 92 ішкі 107;
E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz, www.book24.kz
Тауар белгісі: «АСТ». Өндірілген жылы: 2023
Өндірілген мемлекет: Ресей
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.
Сертификация қарастырылмаған

ISBN 978-5-17-155745-4

© Перевод. В. П. Гольшев, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2023